



## **С. А. АСКОЛЬДОВ**

### **Отзвуки славянофильства в год войны**

Славянофильство в известном смысле умерло. Его идея потеряла нечто весьма существенное и в своей интенсивности и в экстенсивности — и, кажется, безвозвратно. Уже балканская война 1913 года с ясностью обнаружила, что славянство есть только научно-историческая категория, а вовсе не братство близких по духу и крови народов. Выступление Болгарии на стороне Германии и Австрии в великой европейской войне еще раз подчеркнуло эту истину, бывшую ясной уже для К. Леонтьева<sup>1</sup>. Но если даже ограничить идею славянофильства одной Россией, все же едва ли кто-либо из теоретиков славянофильства стал бы в наше время утверждать неизменно predetermined миссии России быть единственным избранным народом, порождающим все религиозно ценное только из себя без всякого научения извне.

Такую формулировку и самочувствие русского мессианизма всесторонне и, на наш взгляд, окончательно преодолел Вл. Соловьев. Но будучи противником крайнего славянофильства, тот же Соловьев был в известном смысле и проповедником русской идеи. Однако не как чего-то исключаящего западную культуру и самоутверждающегося, но только как ничем не заменимого национального своеобразия, вносящего свой религиозный вклад в общий синтез всечеловеческого христианства.

Выпущенные книгоиздательством «Война и культура» брошюры С. Н. Булгакова «Война и русское самосознание» и А. С. Волжского «Святая Русь и русское призвание»<sup>2</sup> воспроизводят в основных чертах отчасти это смягченное славянофильство Соловьева, отчасти более резкие формулировки его предшественников. Брошюры эти имеют несомненный интерес, но только потому, что они написаны авторами, прошедшими школу углубленной и утонченной мысли, но и потому, что написа-

ны в годину войны, когда вопросы о том, что несет в себе Россия и ради чего подьмет она иго войны, получают наибольшую остроту и значение. Отвечают ли на эти вопросы названные брошюры? На наш взгляд — не вполне. Однако правильно оценить эту неполноту можно лишь поняв, что полные ответы на эти вопросы представляли бы уже своего рода пророчество. Ведь Россия, понимаемая не в плоскости политического феномена, а в ее национальном бытии, есть не только то, что она была, но и то, что она будет. И только ценностью этого «было» и «будет», которые в то же время составляют ее мистическое «есть», оправдывается ее кровавая жертва. Ведь Россия, понимаемая не в плоскости исторического феномена, а в ее национальном бытии, есть не только то, что она была, но и то, что она будет. И только ценностью этого «было» и «будет», которые в то же время составляют ее мистическое «есть», оправдывается ее кровавая жертва. Однако частичные ответы и ответы, напоминающие о самом существенном для русского национального самоопределения, найдем мы и в этих брошюрах, по-разному и с разных сторон устремленных к одному и тому же, — к России как сверхчувственному целому. «Надо любить в своем народе, как и в себе самом, не себя, а свое призвание». Эта мысль Булгакова, составляющая красивую парфразу к тезису Соловьева — «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности», — одинаково характеризует то «славянофильство», которым проникнуты обе брошюры.

Булгаков является, несомненно, наиболее близким Соловьеву писателем, как по своей общей позиции, так и по данному вопросу. Он мыслит призвание России не в гордом отъединении от Запада, а, напротив, в сознании невыполненности тех задач, которые разрешимы лишь в сотрудничестве со всей Европой. Запада нужен был России, по мысли Булгакова, «прежде всего как школа техники, недостаток которой парализовал наше духовное творчество. Запад нужен был нам и как сокровищница духовной культуры, подлинных творческих ценностей». Однако все это необходимое ученичество у Запада нужно было прежде всего для более свободного и полного выявления своего. Ценное свое должно быть затем соединено с ценным чужим — таков смысл сотрудничества. Но в технических ценностях Запада заключается и величайшая опасность особой формы духовного растления, а именно прельщения внешней культурой техники и комфорта, вообще устройства жизни на земле на началах механики физической и социальной.

Этот наиболее опошляющий дух человеческий вид «amor loci» \* — любви к земле как к комфортабельно устроенной квартире — характеризуется Булгаковым очень метко и ярко. Война испепеляет этот «amor loci». В этом, а также в конечном единении европейских государств, которое должно возникнуть именно из войны, заключается духовный смысл войны и ее оправдание. Брошюра Булгакова все-таки не отвечает на вопрос о призвании России и вообще не определяет положительным образом, в чем же заключается ее национальный «талант», который должен быть возвращен и приумножен ко дню всемирных итогов в духовном союзничестве с Западом. Вообще мысль автора направлена больше всего на то, в чем Россия как целое не очень погрешила, а именно на тот amor loci, в котором заключается отрыв от Бога, грозящий всем вообще итогам земной истории.

Волжский идет несколько дальше. Представляя в большей своей части весьма тонко продуманные и прочувствованные memorabilia всего славянофильства, его работа в заключительных страницах содержит некоторые указания на то, в чем автор видит религиозную миссию России. Эта миссия в «крестном пути» до конца. Автор говорит даже о возможности для св. Руси, «приняв Господний зрак рабий, умалиться даже смерти». Она, по словам автора, даже может «ограничить себя для служения другим, может, пожалуй, умыть ноги хотя бы народам Европы, но не ради уступчивого всепримирения с ними, не для всечеловеческой вселенской гармонии на земле, а для высшего возвеличения своего знамени, своей вечной славы — славы креста Господня». Конечно, эти слова Волжского звучат весьма туманно и несмело. Однако мы видим в них все же нечто намечающее определенный путь. Как Леонтьев и как Соловьев в своей последней фазе, знаменуемой повестью об Антихристе, Волжский примыкает к тому религиозному пониманию и жизненчеству, которое не допускает для чистых христианских начал каких-либо решительных побед на земле. И если православие есть наиболее чистое и незамутненное интересом к земному разветвление христианства, а Россия — его последний оплот, то России не следует ждать чувственно осязаемых свершений в устройении земного, вообще тех обольщающих реализаций чисто гуманистических начал, которые всегда сопряжены с изменой внутренним религиозным ценностям. Отсюда страдальческий облик России, ожидание ее крестного пути. Конечно, это предчувствие автора нельзя понимать слишком упрощенно и,

\* Любовь к месту (лат.). — Ред.

так сказать, буквально, а тем более истолковывать их в отношении исхода войны. Автор говорит в конце концов о св. Руси. И здесь хочется несколько продолжить его мысли. Ведь «святая Русь» есть опять-таки тот невидимый и, однако, всегда ощущаемый внутренним чувством ноумен, который прикреплен к видимой и эмпирической России, как сокровенное человеческой души прикреплено к телу. Конечно, это единое с телом существо, однако находящееся в разных планах бытия. Но судьбы тела и души не всегда и не во всем совпадают. И тоскующая душа вполне мыслима в победившем все внешние препятствия теле. Иногда тоска именно и нападает от внешних благополучий. И здесь предчувствия автора, если они верны, могли бы даже двояться по своему внутреннему замыслу.

Но оставим предчувствия. Дело все-таки не в них, а в том различии души и тела нации, которое в существе намечается и, однако, не вполне используется обоими авторами. Святая Русь — это именно душа России и даже не вся душа, а наиболее непорочное в ней. И в то же время это нечто наиболее стоящее над временем. В ней собрано все прошедшее России и зарождается будущее. Она же есть истинный, хотя и не опознанный ясно, объект того в достаточной мере загадочного чувства, которое называется любовью к родине. Любовь к родине загадочна именно тогда, когда в эмпирической наличности ее положительно не к чему отнести. И если родина есть по преимуществу свое незаменимое национальное, то как мало осталось ее в обесцветившемся современном быте городов деревни. Она осталась неизменившейся только в Церкви. Но ведь и вне Церкви стоящие любят родину. Для них она уже почти целиком в прошлом. И как много здесь прошло безвозвратно и незаменимо. Что, например, заменит нам то «родное», что слышалось когда-то «в долгих песнях ямщика»? Не рывканье ли и хрюканье автомобилей, которое теперь так символично оглашает новые формы городского быта. Положительно любви патриотической достойно, главным образом, лишь душевное и духовное в России, т. е. внутренне живущее и способное к действию прошлое. В сущности, эта «святая Русь», она же «родина» и «душа» нашего государственного тела и есть то, что служит основной темой славянофильства. И о том, чем стать России — Иваном, не помнящим своего родства, или быть *внутренно той же, что и прежде*, но только претворенною в иные внешние формы, — об этом только и может идти теперь спор между славянофильства и проповедниками отвлеченного европеизма или отвлеченного же гуманизма. Быть «просто человеком» — это, конечно, во

многих отношениях прельстительно, ибо роднит нас одновременно с Периклом и с Данте, с Вольтером и с Ибсеном. Для многих к тому же слово человек «звучит гордо». Но в творчестве жизни такая отвлеченная широта «просто» человечности будет всегда так же бесплодна, как бесплодна была бы беседа названных нами четырех мужей, если бы они каким-нибудь чудом могли сойтись для дружеского общения.

Вопрос о сохранении и раскрытии души в изложенном выше смысле, поставленный на практическую почву, приводит, конечно, ко множеству затруднений. Самое задушевное и дорогое относится ведь в конце концов к далекому прошлому, хотя бы оно там так же связано с наиболее тяжким и ужасным. Вообще это прошлое связано с невозвратимыми и технически и морально условиями. Не возвращаться же нам, в самом деле, к конной тяге из-за «долгих песен ямщика». То же следует сказать и о других очарованиях старого быта. С другой стороны, примирение с автомобилями неизбежно, несмотря на весь наглый тон их рожков. Но все это лишь символические мелочи жизни. Современное государственное тело требует для своей жизни совсем иного устройства и в коренном, а это иное устройство изменяет существенно и самую душу. И быть может, св. Руси в ней не будет места. Одним словом, не связаны ли неизбежное настоящее и будущее с таким же неизбежным отказом и от того прошлого, к которому преимущественно и относится русская идея? Указанные затруднения именно и предстают перед той вариацией славянофильства, которую развивал Соловьев. Легко говорить о синтезе России и Европы, о соединении племенных «талантов» в единое целое. Но что если «таланты» по преимуществу не соединимы? Ведь нации и государства в своей жизни обладают все же несомненной *органичностью*. А органичность характеризуется именно невозможностью по произволу заменять или синтезировать отдельные части от различных органических целых. С другой стороны, как в жизни отдельных людей, так и в духовной жизни народов определенные недостатки и пороки часто бывают неразрывно связаны с достоинствами и совершенствами. Искореняя первые, мы можем нередко искоренять и последние, насаждая последние, присоединить и первые. И это прежде всего ясно на той же технической культуре, в которой Россия несомненно имеет свои крупные недочеты. Как ни безразлична, казалось бы, эта культура для духовного состава нации, играя роль чисто инструментальную, однако и техника становится духовно нестерпима, когда она завладеет душою в качестве особого идолопоклонства, когда, например,

об эволюции техники говорят с тем присосом и присвистом вдохновения, с каким гоголевский Петух говорил своему повару о сооружении пирога с осетром. Но даже и при чисто деловом, т. е. вызываемом одною неизбежностью, росте технической культуры роковым образом раздавливаются и отсекаются многие духовные и душевные ценности. В результате органического развития нации несомненно присуща постоянная боль разрыва с дорогим прошлым.

В этом смысле мы и начали с утверждения об умирании славянофильства. В нем, несомненно, нечто отмирает, даже если оно движется по намеченному Соловьевым руслу мирных синтезов *ad majorem Dei gloriam*\*. И в этом отношении более эмоционально любивший св. Русь Леонтьев был прав в своем непримиримом отвержении всяких синтезов. Однако несомненно и то, что горячая любовь Леонтьева к святой Руси, как неизменной и ни в чем не уступчивой, ведет к иному умиранию — к умиранию России как государственного тела. Но христианство по понятию своему есть миссия на земле, т. е. *через* тело. Этим, думается, вопрос религиозно разрешается в духе Соловьева. И святая Русь должна жить в своем эмпирическом теле, связанном законом необходимости, частью умирая, частью возрождаясь в новых, хотя бы и более тесных формах своего земного бытия. Пусть прошлое невозвратно в своем прежнем виде. Но живущее в душе, хотя бы как воспоминание, оно делает настоящее и будущее себе сродным, вообще все же иным, чем если бы его в душе совсем не было. В сущности «не забывать» уже значит возвращать к жизни. И в этом отношении катастрофические процессы вроде настоящей войны являются, вернее, — могут являться, факторами оживления великого и святого в прошлом. Предрассудок, что будто война в своем разрушительном действии лишь ускоренно стремится нас в будущее и отрывает от прошедшего. Не прошлое есть враг будущего, а именно настоящее, как узость и малый диапазон бытия. И именно эту узость рушит война и поневоле обращает к забытому и казалось бы невозвратимому святому прошлого, освобождая новые русла для претворения его в будущее. И не случайность, что славянофильская идея расцвела с началом войны. Но и война же обнаружила в этой идее нечто, чему время тлеть, а вовсе не цвести. Вообще славянофильство нельзя теперь проповедовать в типических формах его «героического» периода. Однако все же и эти формы сейчас особенно необходимо вспоминать, понимать и

---

\* Во славу Божию (*лат.*) — *Ред.*

---

уважать, потому что не кто другой, как именно славянофилы внутренне ощутили и правильно выразили сокровенную глубину России — святую Русь; никто, как они, не желали для России лучшего будущего, любя в то же время священное старое. Словом, именно они были людьми того органического жизненного чувства, которое реально связует человека с объемлющим его и внешне и внутренне высшим целым. А только с таким жизненным чувством можно с чутьем возможного и невозможного, праведного и неправедного созидать жизнь.

